

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

УДК 821.161.1 – 311.2.09

DOI: 10.23951/1609-624X-2019-1-97-104

«МАЛЕНЬКИЙ ХРАМ ДУХА»: ОНТОЛОГИЯ И ПРОСТРАНСТВО ВЕЩИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ М. А. ОСОРГИНА*

М. А. Хатямова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Введение. Исследуется малая проза представителя русской эмиграции первой волны М. А. Осоргина в аспекте функции и семантики вещи в рассказах второй половины 1920-х годов. *Материалы и методы.* Материалом исследования служат рассказы М. А. Осоргина второй половины 1920-х годов – «Пенсне», «Портрет матери», «Дневник отца», «Вещи человека». В работе используются структурно-семиотический, функционально-типологический, герменевтический подходы к анализу художественного текста. *Результаты и обсуждение.* М. А. Осоргин обладал выраженным специальным мышлением, талантом пространственного зрения и памяти, что и обуславливало его страсть к собирательству и особую власть над ним вещей, связанных с утраченным прошлым, с дорогими людьми и ключевыми событиями эмигрантского существования. Большое место в жизни писателя занимало собирательство книг (организация и работа по спасению редких книг в «Книжной лавке писателей», которой он отдал много сил в 1918–1922 гг., создание личных библиотек, несмотря на многочисленные переезды и две эмиграции); другой привязанностью Осоргина были милые сердцу личные вещи человека. *Заключение.* Утверждается, что эстетическая новизна и художественная глубина в неантропоцентричном мире автора достигается с помощью различных вариантов «перевода» эмпирических вещей в их художественные соответствия, что позволяет говорить о философии и поэтике вещи в малой прозе писателя. Доказывается, что в рассказах «Портрет матери», «Дневник отца», «Часы», «Пенсне» «вещи человека» наделяются равноценным с человеком статусом, их существование онтологизируется (наряду с природой, животным миром и человеческим): предметы обладают неповторимым характером, живут своей жизнью, но и являются неотъемлемой частью человеческой судьбы, «заселяют» значимые пространства человеческого существования, становятся отправной точкой сюжета осмысления судьбы близкого человека и жизни автора-повествователя. Прослеживается изменение семантики вещи, которая из знака утраченной родины и детства (память) превращается в повод для осмысления собственной судьбы и характера (самопознание автора), а также позволяет приоткрыть тайны индивидуального существования и всеобщей онтологической связи живого и неживого бытия («смерть» вещи после смерти хозяина и превращение в вещь последнего).

Ключевые слова: литература русского зарубежья, малая проза М. А. Осоргина, поэтика вещи.

Введение

Малая проза М. А. Осоргина (1978–1942) по-прежнему остается на периферии исследовательского внимания. Однако собиравшиеся в циклы его малые формы – «Там, где был счастлив» (1928), «Вещи человека» (1929), «Чудо на озере» (1931), «Повесть о некоей девице» (1938), «Происшествия зеленого мира» (1938), «По поводу белой коробочки» (1947) – вместе с циклами очерков («Встречи», «Записки старого книгоеда» и др.) являются не претекстами романов (как в случае с В. Набоковым или Г. Газдановым), а совершенно самостоятельными направлениями в творчестве многогранной личности, в которой натуралист-огородник, библиофил и италофил, собиратель

древностей, журналист и художник уживались на равных правах [1].

М. А. Осоргин «обладал ярко выраженным специальным мышлением»: талантом пространственного зрения и памяти [2, 3], что, по всей видимости, и обуславливало его страсть к собирательству и особую власть над ним вещей, связанных с утраченным прошлым, с дорогими людьми и ключевыми событиями эмигрантского существования. Большое место в его жизни занимало собирательство книг: организация и работа по спасению редких книг в «Книжной лавке писателей», которой он отдал много сил в 1918–1922 гг., создание на протяжении всей жизни личных библиотек (несмотря на многочисленные переезды и две эмигра-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-34-00017а1.

ции). Т. В. Марченко пишет: «Не менее привлекателен был для Осоргина и мир ветхих вещей, имеющих цену и преисполненный смысла только для их владельца. Мир вещей, их символика в литературе эмиграции приобретали особый смысл, и Осоргин, противопоставляя мудрость собирания катастрофе русского рассеяния, сам составил богатейшую коллекцию российских изданий. С ее приобретениями он знакомил читателя на страницах „Последние новости“ в цикле „Записки старого книгоеда“ (окт. 1928 – янв. 1934), в серии „старинных рассказов“, где фантазия Осоргина смело домысливала разрозненные факты» [4, с. 229].

Другой привязанностью Осоргина были милые сердцу личные вещи – *вещи человека* (так будет назван один из рассказов и сборник, изданный в Париже в 1929 году). Всепоглощающий лиризм и «душевная обнаженность» рассказов о вещах заставляли и доброжелательную критику (К. Мочульского), и современных исследователей (Т. В. Марченко, О. Ю. Авдееву) интерпретировать их как некие автобиографические зарисовки, не помещающиеся в пространство собственно художественной прозы: «Лиризм в его сборнике „Чудо на озере“» (Париж, 1931) вновь перевешивает собственно эпическое повествовательное начало, отчего новеллы часто утрачивают жанровую определенность, эскизностью описания и приподнятостью тона больше напоминают дневниковые записи. Осоргин словно неохотно мирится с условностями беллетристики – сюжет, герои, диалоги, – проявляя несомненную склонность к субъективно-му философствованию» [5, с. 300].

Материал и методы

Материалом исследования служат рассказы М. А. Осоргина второй половины 1920-х годов – «Пенсне», «Часы», «Портрет матери», «Дневник отца», «Вещи человека». В работе используются герменевтический, сравнительно-типологический и структурно-семиотический методы исследования художественных произведений.

Результаты исследования и обсуждение

Исследуя функции вещи в творчестве русских классиков, А. П. Чудаков справедливо отмечал, что «вещный мир литературы коррелирует реального, но не двойник его», и «в творении высокого искусства реальный предмет погибает, чтобы дать жизнь предмету художественному, лишь обманчиво похожему на прототип, но иному по своей сути, по новым многообразным качествам»; «эмпирический предмет – лишь почва и пища. Усваивая его себе, рождающийся художественный предмет пронизывает его корнями своих интенций, делает его своим, и вот уже в его капиллярах течет сок другого –

художественного – организма» [6, с. 25–26]. Рассказы о вещах М. Осоргина созданы по законам художественной прозы, их простота обманлива: эстетическая новизна и художественная глубина достигается в них с помощью различных вариантов «перевода» эмпирических вещей в их художественные соответствия. Думается, что можно говорить о философии и поэтике вещи в малой прозе писателя.

В рассказе «Пенсне» (1924) самостоятельная, отдельная от человека жизнь вещей не только не вызывает сомнения, но обрастает субъективно-авторскими ассоциациями: «Что вещи живут своей особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на гвозде, непременно передразнивает своего владельца, – но лицо у нее свое, забуддыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, – и к ним с заметным презрением относятся вещи-труженики: демократический стакан, реакционная стеариновая свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мешан – носовой платок, вечно юная и суетливая сплетница – почтовая марка» [7, с. 514].

Сопровождающие человека вещи «получают» обстоятельства его судьбы и несут в себе его жизненный опыт (свечка «реакционная», потому что была свидетелем неоднократных пребываний рассказчика в тюрьмах – царской и советской). Кроме того, некоторые вещи обладают «страстью к путешествиям» – имеют обыкновение исчезать в самый неподходящий момент, и в основе наррации оказывается детективная история по возвращению исчезнувшего пенсне, в которой участвует сам повествователь, его приятели и прислуга: «Прошла неделя или больше. Про этот случай я не забыл и много раз о нем рассказывал, показывая и место происшествия. Как обычно, скептики смеялись, практики перешушывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела все пылинки и даже вымыла черную лестницу» [7, с. 515–516].

В расследовании, организованном по всем правилам детективного жанра, действует и свой донквотствующий «комиссар» (знарок испанской литературы): «Один мой знакомый, заинтересовавшись случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным способом. Он записал номер пенсне, начертил план комнаты, отметил расставленную мебель, спросил, нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, – и целый день мыслил, пользуясь, главным образом, методом исклю-

чения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы» [7, с. 516].

Внезапное, как и исчезновение, возвращение пенсне получает перипетии психологического романа, в котором человек и его вещь оказываются связанными чувством вины, ревности, обиды:

«...Нужно видеть физиономию моего пенсне, вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять, что это – не случай и не недоглядка.

Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавненное в стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно – наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.

Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно, в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так ловко обмануть его бдительность?

На все эти вопросы ответить трудно. Но что пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, – в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.

Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов...» [7, с. 516–517].

Судьба пенсне «обретает» трагическое измерение. Шутливая ирония повествователя оказывается потеснена чувством искренней привязанности, вины и потери: «...Кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя и разбилось в мельчайшие осколки. Пусть это будет случайностью – мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные считать этот „случай“ самоубийством. И что могло побудить эту в сущности своей кристальную душу на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение моих загулявших стеклышек? Мне жаль бедняжку!» [7, с. 517].

В финале иронично-игровая позиция автора-повествователя в отношении вещи сменяется серьезно-благодарной и он, не без пафоса, отстаивает право вещи на свою индивидуальную судьбу: «Мы долго жили дружно и вместе прочли много добрых и глупых книг, в которых людям приписываются и страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на мельчайшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности» [7, с. 517].

В неантропоцентричном мире автора вещи наделяются равноценным с человеком статусом, их существование онтологизируется (наряду с природой, животным миром и человеческим). В рассказе «Часы» (1929) таким неповторимым характером обладают «старинные и драгоценные», «великой красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным заводом (утром в воскресенье)» бабушкины часы, которые двадцать лет назад стали отбивать на три часа меньше. Ремонт часов закончился безуспешно, и бабушка приняла нрав своих часов: «И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых, часовщик может их испортить; часы старые, кто делал их – неизвестно. А потом – прошло двадцать лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять – значит, восемь, а восемь – значит, одиннадцать. Никакого труда нет прикинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно» [7, с. 433]. Но приехавший из-за границы внук, желая помочь бабушке, относит часы в починку, нарушая тем самым привычный жизненный уклад дома и провоцируя ревность: починенные часы бьют верно, «однако радости в их бое нет – да и к чему старухе радоваться <...> Не их, конечно, вина, что два дня провели они у чужого человека... Никакой с их стороны не было измены» [7, с. 436]. В финале возвращение к привычной жизни – отставанию часов – восстанавливает гармонию совместного существования человека и его вещи: «И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо, точно провели со сердцу ласковой рукой. <...> Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: „Теперь уж будьте покойны, все будет по-старому!“ <...> И тут бабушка заснула, вся утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок, а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты» [7, с. 437].

Курьезный случай о починке часов вырастает в притчу о нарушении традиции, что чревато разрушением жизни, – любимый эмигрантский сюжет.

Триптих «Портрет матери», «Дневник отца» и «Вещи человека» вышел отдельной книжкой в 1929 году.

В рассказе «Портрет матери» (1927) оставшаяся у автора-повествователя реликвия – портрет матери в 14 лет – становится отправной точкой сюжета осмысления судьбы близкого человека и своей собственной судьбы. Экфрастический зачин – описание портрета («худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевою пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый коготок виден особо») [7, с. 415] – настраивает читателя на повествование о молодости героини. Но картина оживает лишь отчасти (в отрезке судьбы

институтки), далее сюжет разворачивается на контрасте между сохранившимся в памяти образом «старой женщины с грустными глазами, какой взяла ее смерть», и изображением на портрете. Так задается логика осмысления жизни матери как экзистенциального противостояния свободной в своем выборе личности препятствиям и ударам судьбы, основные вехи которой неразрывно связаны в сознании сына с каким-то предметом, вещью или конкретной картинкой.

Окончив институт в Варшаве без «шифра» (знака отличия), «потому что во время мессы тянула кошку за хвост», – иронично цитирует повествователь официальную версию и дополняет от себя: «Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замыкала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской [7, с. 415], «институткой она осталась до конца жизни»: «одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не видел ее непричесанной. Молилась она по книжечке, хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжечке: французским, немецким и английским» [7, с. 415–416].

Если молитвенник свидетельствует о религиозности матери, то ритуальное общение с разговорником обладает поистине чудодейственным свойством: с его помощью провинциалка всю жизнь могла говорить «на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, но и писать уже перестали» [7, с. 416]. Книжка удостоверяет твердость и последовательность характера героини, как и навсегда усвоенное представление о необходимости в любых жизненных обстоятельствах поддерживать свой духовный уровень, поэтому для автора-повествователя она достойна того, чтобы сохраниться в памяти читателей-потомков. Повествователь любовно воссоздает не только внешний облик книжки, но и процесс каждодневного общения героини с ней: «Эта книжка, толстая, переплетенная в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и непотрпанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому – вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась <...> Толстую книгу мать знала наизусть [7, с. 416].

Полоска картона превратится для взрослого сына в святыню, потеря которой вместе с письмами матери будет отзываться болью в душе: «Пока мог –

я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями погиб в скитаньях и при обыске» [7, с. 420–421].

С конкретными подробностями и в вещных образах представлено и главное дело матери – воспитание и обучение детей: «Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это нелегко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, scarлатина, гимназия...» [7, с. 416].

Занятия с матерью остались в памяти повествователя благодаря предметным аналогиям: арифметика – с задачником Евтушевского, Пиренейский полуостров – от слова «перина», – поучала мать сестру, и «что город Брюссель славится своими кружевами». «Когда детей пятеро – один из них непременно болен, а для хорошей жены муж тоже идет за ребенка», – продолжает повествователь и перечисляет «простые и испытанные средства», которыми мать их лечила: «липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши – при головной боли..., паутиной – при порезах, теплым деревенским маслом – если стреляло в ухе» [7, с. 418].

Выпавшие на долю матери и преодолевающиеся каждодневным трудом испытания (внезапная смерть мужа, уехавшего в родной город повидаться с родственниками: «Мать приехала, когда на уфимском кладбище стоял новый надгробный крест» [7, с. 418]), отъезд из дома вышедших замуж дочерей, «приличная бедность» – «ели хорошо, а носили штопаное» – связаны в сознании повествователя с ее рукодельным столиком. «Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками – целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза – разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышивание, пасьянс <...> Но утром, прежде всех занятий, открывала институтскую книжку и шепотом повторяла старинные фразы – по-французски, по-немецки, по-английски» [7, с. 418–419].

Однообразный быт провинциального города, несбывшаяся мечта о переезде в столицу и большая семья, требовавшая «вечных мелких забот» и проявившиеся «вокруг ласковых голубых глаз» тонкими морщинками, не разрушили духовный мир матери. Она помогала работавшему в газетах сыну-студенту с переводами рассказов и статей из иностранной почты; «и нечаяно я узнал, – говорит повествователь, намекая читателю на собственное, видимо, унаследованное от нее увлечение писательством, – что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной» [7, с. 419]. Мать уважи-

тельно отнеслась к ранней женитьбе сына, обещая дать разрешение и полюбить его будущую жену, как и к участию в революционной деятельности, стоившей ей скоро жизни: «Был девятьсот пятый год, коротенькая „эпоха свобод“. И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией. Чем практикой: „Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал“» [7, с. 420].

Портрет матери, воскресив из небытия связанные с событиями жизни семьи незабываемые вещи, восстановил для автора-повествователя понимание взаимообусловленности своей личности и судьбы и материнской. В финале он сожалеет о том, что родовая цепочка прерывается на нем: «Остался – чудом и дружеской услугой – только портрет работы польского художника <...> Когда я смотрю – думаю: „Я – сын этой девочки!“ И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть, счастливым... Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: „Я – сын, или: я – дочь этого мальчика в теплой курточке“. Никто никогда, потому что некому...» [7, с. 421].

Вторая реликвия, доставшаяся автору-повествователю вместе с портретом матери, – юношеский дневник его отца («Дневник отца», 1927). Преодолеть и оправдать кощунство проникновения в «дневник любви», «дневник страданий» позволяют автору две высокие цели. Во-первых, самопознание, обнаружение глубокой связи не только с характером матери, но и отца: «Я делаю выписки – и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием» [7, с. 421]. Во-вторых, стремление сохранить дорогие предметы от исчезновения в чужой стране: «Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послунив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все *исчезнет* (курсив автора. – М. Х.) [7, с. 422].

Автоповествователь, предощущая «холодок грядущего небытия», спешит «со всей силой любви и благодарности» за жизнь, которую ему даровали, отдать последний долг своим родителям: «...Я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и су-

мею вплести в венок вашей памяти» [7, с. 422]. Он верит в читателя-друга, душа которого станет лучшим хранителем того, что он любил: «То, что я пишу сейчас, – пишется лишь один раз в жизни и в груди исписанных за многие годы листов бумаги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, – близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, – сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня – о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги» [7, с. 422].

В дневнике не «отразилась эпоха», а «только его любовь», приоткрывающая внутреннюю жизнь неизвестного сыну отца: «Мне не верится, чтобы отец мой был таким „непривлекательным“ и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. <...> Я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе» [7, с. 423].

Цитаты из дневника смонтированы таким образом, что раскрывают целую философию любви в ее перипетиях: встреча и мечты о чудесном («твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел» [7, с. 424]), томление любви («но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия» <...> смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты – разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?» [7, с. 425], – комментирует повествователь), жертвенность и самоотдача («ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут на какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобой любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье...» [7, с. 425], ревность к местному Чайльд Гарольду и муки любви («та ли она, какою кажется?», желание «разбить» свою жизнь и «умчаться Бог знает куда»).

Автор-повествователь начинает додумывать логику взаимоотношений за своих героев, его фантазия превращает текст дневника в любовный роман, сюжет которого почти проецируется на онегинский: «Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная – с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто – с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходиться, – и он, остав-

шись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему неочтенному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное – несчастного» [7, с. 427].

Добрая ирония повествователя включает и обертон классики (русский человек на randevu), подшучивая над «уникальностью» переживаний своих будущих родителей, в то время как эти переживания имеют целую традицию в русском классическом романе (не даром же их предками были Аксаковы и Ильины!): «Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И так же часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочно и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречить и смеяться. Голубые глазки знают свою власть; но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами?» [7, с. 427–428].

Дневник отца, в котором чередуются «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив», становится для автора-повествователя свидетельством вечности идеальной любви как онтологической силы: «Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все. Что останется? Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. <...> Всегда останутся чудачки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении <...> Прекрасное и неповторимое остается святыней» [7, с. 431].

Дневник объясняет повествователю-сыну основы их счастливой семьи (позднее, в автобиографическом повествовании «Времена» Осоргин признавался: «Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает иначе»), сформировавшей его душу. Поэтому зрелый писатель ставит памятник не себе, а своим родителям: «Сыновним чувством, проснувшись в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов <...> Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается. Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне

радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной» [7, с. 431].

Рассказ «Вещи человека» (1927) выполняет концептуализирующую и итоговую функцию в осмыслении взаимоотношений человека и вещи, их общей жизни. В самом названии содержится семантика обобщения. Что происходит с вещами человека после его смерти? Какие тайны человеческого существования могут приоткрыть оставшиеся после него вещи, письма?

В начале рассказа задается дедуктивная логика – вещи умирают вместе с человеком: «Умер обыкновенный человек. Он умер. И множество вещей и вещей потеряло всякое значение: его чернильница, некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая перчатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый набор воротников и галстуков, в том числе много неносимых и ненужных. Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса и значения. Но он умер – и внутренний смысл этих вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама» [7, с. 437–438].

Однако разбирающая оставшиеся от близкого человека вещи «женская рука с обручальным кольцом» обнаруживает «странные» вещи, свидетельствующие о том, что какую-то часть жизнь и самого человека она не знала: «Разве он курил трубку? И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? И что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике, под ключом?» [7, с. 338]. Вещи сопротивляются небытию, сохраняя присутствие хозяина, который «жалел их» (курсив автора. – М. Х.), но уже не в силах сохранить «молодость», потому что у них нет будущего: «Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей человека – вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они улыбались приветливо, даже когда он смотрел на них рассеянно, на все сразу, мельком. Просыпались для него, и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им казалось – так будет всегда. Сейчас их трогала рука незнакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин умер – и вещи его стали тусклыми, испуганными, старенькими, блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь на другого человека? Нет, вещи не изменяют» [7, с. 439].

Но кульминацией истории становится чтение женой писем умершего человека: «А затем белая рука с каемкой траура спокойно, не дрогнув, как бы в сознании права, пошла на преступление. Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала тонкую бечевку – и пачка писем рассыпалась [7, с. 439]. Нарушение целостности пачки писем как вторжение в чужую жизнь уничтожает сокровенную тайну бытия: «спустя час – письма, набухшие, разбитые, потерявшие тесную друг с другом связь (складка со складкой, листок с листком), лежали оскорбленной и ненужной грудой, и сложить их по-прежнему было уже нельзя» [7, с. 439–440]. Вещи замещают человека, и разрушение вещей (а «вся пачка продолжала жить только как вещь, которую пожалели, сохранили, не бросили, потому что нельзя же... бросить то, что было когда-то свято и полно трепетного интереса» [7, с. 439] предвосхищает обесценивание человека, превращение его самого в ненужную вещь: «В эту минуту к вещам ненужным и бесхозным, с которыми никто не считается и которых не уважают, присоединилась еще одна: умерший человек» [7, с. 440].

Нарушение целостности единого бытия человека и его вещей и означает смерть, – констатирует повествователь без доли иронии, опасаясь за судьбу собственных спутников жизни: «Он стал первой вещью, ушедшей из привычного уюта. Он ушел совсем и навсегда, оставив на стене большой свой

портрет, плоский, с остановившимся взглядом и надетой на лицо улыбкой – для других. Глаз, которыми он смотрел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький храм его духа был не тронут, – человек жил в пачке писем, в трубке, в полужетоне с французской надписью, в огрызке карандаша. Теперь, когда вскрыты его спешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма, – он ушел в шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками. И было великое смятение его любимых вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных в кучу, обреченных на уход – сегодня ли, завтра ли. Осколки храма стали мусором» [7, с. 440].

Заключение

Лирические миниатюры М. Осоргина серьезнеют от рассказа к рассказу. От шутивных размышлений о неразрывной связи человека с обладающими своим собственным бытием вещами автор-повествователь переходит к «вещам» серьезным: к пониманию неразрывной связи своей судьбы с судьбой рода, предков и желанию отдать последний сыновний долг увековечиванием памяти их вещей; осознанию свободы и «непрозрачности» как необходимых составляющих человеческого существования. Позднее не признающий авторитетов писатель молодой генерации в своем романе «Приглашение на казнь» сделает феномен прозрачности/непрозрачности человека предметом исследования.

Список литературы

1. Хатямова М. А. Мир Италии в судьбе и творчестве М. А. Осоргина // Россия–Италия–Германия: литература путешествий / научн. ред. О. Б. Лебедева. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2013. С. 218–229.
2. Жлюдина А. Н. Семантика художественного пространства в романах М. А. Осоргина: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2012. С. 23.
3. Сваровская А. С., Хатямова М. А., Жлюдина А. Н. Поэтика прозы М. А. Осоргина: учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2011. 96 с.
4. Марченко Т. В. Осоргин Михаил Андреевич // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 1: Писатели русского зарубежья. М.: РОССПЭН, 1997. 512 с.
5. Марченко Т. В. Осоргин // Литература русского зарубежья: 1920–1940. М.: Наследие, 1993. 336 с.
6. Чудаков А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого. М.: Современный писатель, 1992. 320 с.
7. Осоргин М. А. Собрание сочинений. Т. 1: Сивцев Вражек: Роман. Повесть о сестре. Рассказы / сост., предисл., коммент. О. Ю. Авдеевой. М.: Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999. 542 с.

Хатямова Марина Альбертовна, доктор филологических наук, профессор, Национальный исследовательский Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050). E-mail: Khatyamovama@mail.ru

Материал поступил в редакцию 15.11.2018.

DOI: 10.23951/1609-624X-2019-1-97-104

“THE SMALL TEMPLE OF THE SPIRIT”: THE ONTOLOGY OF SPACE AND THINGS IN M. A. OSORGIN'S PROSE

M. A. Khatyamova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article investigates the small prose of the representative of the Russian emigration of the first wave of M. A. Osorgin in the aspect of function and semantics of the second half of the 1920s. *Materials and research methods.*

The material of the study is the stories of M.A. Osorgin of the second half of the 1920s - "Pensnes", "Mother's Portrait", "Father's Diary", "Things of Man". The work uses structural semiotic, functional-typological, hermeneutic approaches to the analysis of literary text. *Results and discussion.* M. Osorgin possessed a strong mindset, a talent for spatial vision and memory, which led to his passion for collecting and special power over him of the things related to the lost past, with dear people and key events of emigrant existence. A great place in the life of the writer was occupied by collecting books (organization and work to save rare books in the "Bookstore of Writers", which he gave a lot of effort in 1918-22, the creation of personal libraries, despite the numerous travels and two emigrations); Osorgin's other affection was the sweetheart's personal belongings. *Conclusion.* It is argued that the aesthetic novelty and artistic depth in the non-anthropocentric world of the author is achieved through various options of "translation" of empirical things in their artistic correspondence, which allows us to talk about the philosophy and poetics of things in the writer's small prose. It is proved that in the stories "Mother's Portrait", "Father's Diary", "Clock", "Pince-nez" "belongings of a man" are endowed with a status equal to a person, their existence is ontologized (along with nature, the animal world and the human): objects have a unique character, they live their lives, but they are also an integral part of human destiny, "inhabit" significant spaces of human existence, become the starting point of the plot understanding the fate of a loved one and the life of the author-narrator. Traced the changing semantics of things, which from a sign of a lost homeland and childhood (memory) turns into the occasion to reflect on their own destiny and character (self-knowledge of the author), and also allows you to unravel the mysteries of individual existence and the universal ontological connection of the living and non-living existence ("death" thing after the death of the owner and turning into a thing of the past).

Key words: *literature of the Russian abroad, M. Osorgin's small prose, poetics.*

References

1. Khatyamova M. A. Mir Italii v sud'be i tvorchestve M. Osorgina [The World of Italy in the fate and work of M. A. Osorgin]. *Rossiya – Italiya – Germaniya: literatura puteshestviy*. Nauch. red. O. B. Lebedeva [Russia–Italy–Germany: the literature of travel. Scientific ed. O. B. Lebedeva]. Tomsk, TSU Publ., 2013. P. 218–229 (in Russian).
2. Zhlyudina A. N. *Semantika khudozhestvennogo prostranstva v romanakh M. A. Osorgina. Avtoref. dis. kand. filol. nauk* [The semantics of literary space in the novels by M. A. Osorgin. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Tomsk, 2012. 23 p. (in Russian).
3. Svarovskaya A. S., Khatyamova M. A., Zhlyudina A. N. *Poetika prozy M. A. Osorgina: ucheb. posobiye* [The poetics of prose M. A. Osorgin: textbook]. Tomsk, TPU Publ., 2011. 96 p. (in Russian).
4. Marchenko T. V. Osorgin Mikhail Andreevich [Mikhail. A. Osorgin]. *Literaturnaya entsiklopediya russkogo zarubezh'ya (1918–1940). T. 1: Pisateli russkogo zarubezh'ya* [Literary encyclopedia of Russian abroad (1918–1940). Vol. 1. Writers of the Russian abroad]. Moscow, ROSSPEN Publ., 1997. 512 p. (in Russian).
5. Marchenko T. V. Osorgin [Osorgin]. *Literatura russkogo zarubezh'ya: 1920–1940* [Russian literature abroad: 1920–1940]. Moscow, Naslediye Publ., 1993. 336 p. (in Russian).
6. Chudakov A. *Slovo – veshch – mir. Ot Pushkina do Tolstogo* [Word – thing – world. From Pushkin to Tolstoy]. Moscow, Sovremennyy pisatel' Publ., 1992. 320 p. (in Russian).
7. Osorgin M. A. *Sobraniye sochineniy. T. 1: Sivtsev Vrazhek: Roman. Povest' o sestre. Rasskazy*. Sost., predisl., komment. O. Yu. Avdeevoy [Collected works. Vol. 1: Sivtsev Vrazhek: Novel. Tale of a sister. Stories. Comp., foreword, comments by O. Yu. Avdeeva]. Moscow, Mosk. Rabochiy; NPK «Intelvak» Publ., 1999. 542 p. (in Russian).

Khatyamova M. A., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050).
E-mail: Khatyamovama@mail.ru